

Роман
в письмах



Тургенев и Виардо

Я все еще
люблю...

Роман в письмах

Елена Первушина

**Тургенев и Виардо.
Я все еще люблю...**

«Алисторус»

2014

Первушина Е. В.

Тургенев и Виардо. Я все еще люблю... / Е. В. Первушина —
«Алисторус», 2014 — (Роман в письмах)

Любовь не может быть вечной. Так обычно говорят скептики. Впрочем, жизнь не устает убеждать их в обратном. Испепеляющая история любви Ивана Тургенева и Полины Виардо – супруги директора Итальянской оперы в Париже Луи Виардо – длилась более сорока лет. Эта маленькая некрасивая женщина сводила с ума всех мужчин своего времени. Но только русский писатель И. Тургенев решился на самую страшную из возможных пыток души. Он стал другом семьи, а она – его главным счастьем и великой болью. Книга, которую вы держите в руках, – доказательство существования подлинной любви длиною в жизнь, самая полная версия романа в письмах И. Тургенева и П. Виардо, когда-либо издававшаяся в России. «Я подчинен воле этой женщины. Она заслонила от меня все остальное, так мне и надо...» (И. Тургенев) «Мы слишком хорошо понимали друг друга, чтобы заботиться о том, что о нас говорят, ибо обоюдное наше положение было признано законным теми, кто нас знал и ценил...» (П. Виардо)

© Первушина Е. В., 2014

© Алисторус, 2014

Содержание

Часть первая. Писатель	6
Часть вторая. Певица	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Елена Первушина
Тургенев и Виардо. Я все еще люблю...

© Первушина Е.В., 2014

© ООО «Издательство «Алгоритм», 2014

Часть первая. Писатель

Голубь ухаживал за голубкой. Выпячивал сизый, с перламутровыми перышками зобок, распускал крылья, чертил хвостом короткие дуги на песчаной дорожке, кружил, переминался с ноги на ногу, басовито гудел, уговаривал: «Гурррр... Гурррр... Груууу...».

Голубка была потемнее его пером, сухонькая, строгая. Вышагивала, словно и не видя его, но все же не улетаала, позволяла топтаться на ее пути, выписывать круги... Белое перышко, прилипшее к ее головке, придавало ей неожиданное сходство со «Всадницей» Брюллова.

Мальчик, темноволосый, темноглазый, замер у ствола дерева, наблюдая, а скорее, как он позже скажет: «предавался тому ощущению полной тишины, которое, вероятно, знакомо каждому и прелесть которого состоит в едва сознательном, немотствующем подкарауливанье широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас и в нас самих»...

Над старым садом, над усадьбой вставало солнце, тени деревьев на аллее на глазах становились короче, аромат липового цвета над аллеей – гуще и насыщеннее. Утреннюю прохладу сменял уверенный летний жар, который давил на грудь и плечи с физически ощутимой силой. В кустах чиркали зяблики. Где-то высоко, в кроне старого дуба выводила свою резкую и одновременно мелодичную песню зарянка, с конюшни долетало ржание лошадей и слабый, но острый и раздражающий запах дегтя. Но все это не нарушало тишины. Она была внутри мальчика.

Вдруг негромкий звук вывел его из оцепенения. В доме тихо и вкрадчиво заиграла флейта. Мальчик весь обратился в слух, но никак не мог определить тональность – мажор или минор? Это было очень важно. Вот музыка стала громче, уверенней. Флейта щедро рассыпала рулады. Мажор, конечно же мажор! Вспугнув голубей, мальчик побежал к видневшемуся в конце аллеи белому усадебному дому...

* * *

Иван Сергеевич Тургенев – второй сын Варвары Петровны, в девичестве Лутовиновой, и Сергея Николаевича Тургенева родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в Орле. Детство провел в имении своей матери Спасском-Лутовинове. Варвара Петровна – не красивая, не молодая, в юности немало претерпевшая от отчима так, что вынуждена была бежать из дома, и от скупого дяди, у которого жила после побега, неожиданно оказалась единственной дядиной наследницей, владелицей 5000 душ и завидной невестой. Она вышла замуж по страстной любви за промотавшегося кавалергарда, единственным достоинством которого была необычайная красота. «После императора Александра I я не видела никого красивее вашего мужа», – так говорила Варваре Петровне некая немецкая принцесса, с которой они повстречались на водах. Впрочем, Варвара Петровна прекрасно знала цену своему мужу и своему браку. Сергей Николаевич не вмешивался в дела управления имением, его влекли амурные приключения в окрестностях Спасского. Все надежды Варвары Петровны на любовь и понимание были связаны с ее детьми.

* * *

Забегая вперед, скажем, что дети ее разочаровали.

Самый младший – Сергей с детства страдал эпилептическими припадками и умер в шестнадцать лет.



Сергей Николаевич Тургенев – отец писателя. Неизвестный художник. 1810-е гг.

Старший, Николай, по воспоминаниям современников «джентльмен совершенно не русского, но английского типа», не оправдал ее надежд. Пошедши вслед за отцом на военную службу, он запомнился сослуживцам тем, что «был насмешлив, и хотя не был зол, но не прочь был при случае уколоть и даже язвительно надсмеяться. Речь Николая Сергеевича была необыкновенно цветаста и громка. Знал языки в совершенстве и выговаривал каждый, как свой родной.... Как бы много и долго ни говорил Николай Сергеевич, мы только всегда поражались и восхищались его необыкновенной способностью передавать все так картинно и живо...». Главной «дерзостью» в глазах матери оказалось то, что он выбрал в спутницы жизни Анну Яковлевну Шварц, «немку из Риги», служившую в Спасском камеристкой. Варвара Петровна пришла в неопиcуемый гнев и отказала сыну в содержании, даже когда у супругов появились

дети, впрочем, рано умершие. Николай был вынужден выйти в отставку, устроиться на службу в канцелярию 3-го Департамента Министерства государственного имущества и зарабатывать уроками французского языка, готовя мальчиков в военно-учебные заведения. Анна Яковлевна давала уроки игры на фортепиано. Лишь в 1849 году, за год до смерти, мать согласилась на брак и поставила Николая управляющим своими именьями. Что вовсе не означало, что она простила блудного сына. В одном из писем в ноябре 1849 года Николай Сергеевич пишет: «... как только получу бумаги, еду в деревню. Не в Спасское, куда мне запрещен въезд.... Но я раскину свой шатер в Тургеневе¹, где, как новый Дон Кихот, построю себе лачугу и буду прозябать по крайней мере у себя дома...». Поссорить братьев Варваре Петровне не удалось. Иван Сергеевич поддерживал Николая. Находил Анну Яковлевну прелестной, помогал обустроиться в Тургеневе. Он ссорился с матерью, защищая его. После ее смерти он честно разделил с братом именья, обеспечив его и Анну Яковлевну.

Да, ладить с Варварой Петровной даже ее любимчику Ивану было тяжело. Сделавшись самовластной хозяйкой имений, барыня чудила: разговаривала с домашними на ломанном французском, по-французски же молилась, завела себе «министра двора» и дала ему фамилию Бенкендорфа, и «министра почт» – мальчишку-почтаря лет 14, горничных произвела в «камер-фрейлины» и «гофмейстерины», меняла им имена, учила не покладая розг, могла наказать за неловкий поклон, за кривую ухмылку. Держала крепостной театр и менялась актрисами с соседями помещиками. Была вольна кого казнить, кого миловать. Историю глухонемого дворника Андрея и его собачки Муму Тургенев помнил с детства.

Для вручения барыне почты существовал особый ритуал. «Министр почты» передавал принесенные из Мценска письма «министру двора». Тот просматривал их и, если находил листки с траурной каймой, приказывал дворовому флейтисту играть печальную музыку, чтобы предупредить Варвару Петровну к новостям. Если же траурных писем не находилось, флейтист должен был играть веселую мелодию.

Не обходили розги и любимца матери Ванечку. Как большинство провинциальных помещиц Варвара Петровна была окружена целой свитой наперсниц и приживалок. И вот однажды: «Одна приживалка, уже старая, Бог ее знает, что она за мной подглядела, донесла на меня моей матери, – рассказывал Тургенев. – Мать, без всякого суда и расправы, тотчас начала меня сечь, – секла собственными руками, и на все мои мольбы сказать, за что меня наказывают, приговаривала: «Сам знаешь, сам должен знать, сам догадайся, за что я секу тебя!» Мальчик и рад бы был признаться, чтобы прекратить пытки, да не знал в чем. Поэтому ежедневные экзекуции продолжались. Ваня, не видя для себя другого выхода, решил бежать из дома.

«Я уже встал, потихоньку оделся и в потемках пробирался коридором в сени, – вспоминал Тургенев. – Не знаю сам, куда я хотел бежать, – только чувствовал, что надо убежать и убежать так, чтобы не нашли, и что это единственное мое спасение. Я крался как вор, тяжело дыша и вздрагивая. Как вдруг в коридоре появилась зажженная свечка, и я, к ужасу своему, увидел, что ко мне кто-то приближается – это был немец, учитель мой. Он поймал меня за руку, очень удивился и стал меня допрашивать. «Я хочу бежать», – сказал я и залился слезами. «Как, куда бежать?» – «Куда глаза глядят». – «Зачем?» – «А затем, что меня секут, и я не знаю, за что секут». – «Не знаете?» – «Клянусь Богом, не знаю...»

Тут добрый старик обласкал меня, обнял и дал мне слово, что уже больше наказывать меня не будут. На другой день утром он постучался в комнату моей матери и о чем-то долго с ней наедине беседовал. Меня оставили в покое».

Был и другой случай, возможно, даже более страшный. Одним из лучших друзей мальчика в усадьбе был Леонтий Серебряков, «доморощенный актер и поэт», познакомивший мальчика с русской поэзией. Тургенев описал этот опыт в своей повести «Пунин и Бабурин»:

¹ Имение отца.

«Невозможно передать чувство, – писал Тургенев, – которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, он внезапно, словно сказочный пустынный или добрый дух, появлялся передо мною с увесистой книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать! И вот удалось нам уйти незамеченными; вот мы благополучно достигли одного из наших тайных местечек; вот мы сидим уже рядком, вот уже и книга медленно раскрывается, издавая резкий, для меня тогда неизъяснимо приятный запах плесени и старья! С каким трепетом, с каким волнением немотствующего ожидания гляжу я в лицо, в губы Пунина – в эти губы, из которых вот-вот польется сладостная речь! Раздаются наконец первые звуки чтения! Все вокруг исчезает... нет, не исчезает, а становится далеким, заволакивается дымкой, оставляя за собою одно лишь впечатление чего-то дружелюбного и покровительственного! Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокие травы заслоняют, укрывают нас от всего остального мира; никто не знает, где мы, что мы – а с нами поэзия, мы проникаемся, мы упиваемся ею, у нас происходит важное, великое, тайное дело... Пунин преимущественно придерживался стихов – звонких, многосумных стихов: душу СВОЮ ОН готов был положить за них! Он не читал, он выкрикивал их торжественно, залихватно, закатисто, в нос, как опьянелый, как иступленный, как Пифия! И еще вот какая за ним водилась привычка: сперва прожужжит стих тихо, вполголоса, как бы бормоча... Это он называл читать начерно; потом уже грянет тот же самый стих набело и вдруг вскочит, поднимет руки – не то молитвенно, не ТО повелительно...

Таким образом, мы прошли с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира... но даже «Россиюду» Хераскова!».

Вместе с ним Тургенев как-то ночью совершил налет на библиотеку, куда ходить обоим воспрещалось, и добыл ту самую «Россиюду» и «Книгу эмблем». «В нашей комнате стояли запыленные шкафы домашней работы черной краски со стеклянными дверцами, – писал Тургенев, – там хранились груды книг 1770-х годов, в темно-бурых переплетах, кверху ногами, боком, плашмя, связанных бечевками, покрытых пылью и вонявших мышами. Мне было лет 8 или 9. Я сговорился с одним из наших людей, молодым человеком, даже стихоплетом, порыться в заветных шкафах. Дело было ночью; мы взломали замок, и я, став на его плечи, исцарапавши себе руки до крови, достал две громады: одну он тотчас унес к себе – а я другую спрятал под лестницу и с биением сердца ожидал утра. На мою долю досталась «Книга эмблем» тиснения 1780-х годов, претолстейшая: на каждой странице были нарисованы 6 эмблем, а напротив изъяснения на четырех языках. Целый день я перелистывал мою книжицу и лег спать с целым миром смутных образов в голове. Я позабыл многие эмблемы; помню, например: «Рыкающий лев» – знаменует великую силу; «Арап, едущий на единороге» – знаменует коварный умысел и прочее. Досталось же мне ночью! единороги, арапы, цари, солнцы, пирамиды, мечи, змеи вихрем крутились в моей бедной головушке; я сам попадал в эмблемы, сам «знаменовал» – освещался солнцем, повергался в мрак, сидел на дереве, сидел в яме, сидел в облаках, сидел на колокольне и со всем моим сидением, лежанием, беганием и стоянием чуть не схватил горячки. Человек пришел меня будить, а я чуть-чуть его не спросил: «Ты что за эмблема?»

Похищение осталось нераскрытым, но это не спасло Серебрякова. За какую-то провинность его забрили в солдаты и Ванечка навсегда простился с ним.



Варвара Петровна Тургенева (Лутовинова) – мать писателя. Неизвестный художник. 1810-е гг.

«Мне нечем помянуть моего детства. Ни одного светлого воспоминания. Матери я боялся, как огня. Меня наказывали за всякий пустяк – одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розог; когда я отважился спросить, за что меня наказали, мать категорически заявляла: «Тебе об этом лучше знать, догадайся».

Из воспоминаний Ивана Сергеевича Тургенева

Не желала Варвара Петровна учить сыновей и музыке, считая это занятие не мужским. Позже Тургенев часто об этом жалел. Впрочем, бывали у них и короткие минуты душевной близости, может быть именно из-за них Варвара Петровна так любила Ванечку, с таким трудом

отпускала его от себя. Оба любили птиц. Варвара Петровна писала сыну из Спасского: «У меня по комнатам, – сообщала Варвара Петровна сыну, – в память тебя птицы-синицы... и попевают, и разбойничают. – А сверх того у меня канарейка, а в птичнике снегирь и чижи, щеглы, овсянки и зяблики. Чижи поют, щеглы забиячут, а снегирь ворчит». И в другом письме: «голуби – стук-стук в окно... гуль... гуль... ворку... ворку... Егорка, новый лакей, губошлеп, несет корм и мешок, голуби летят на него и, наконец, на крыльцо, на балконе дерутся, сердятся, ссорятся, а звонок бьет 12 часов...»

* * *

Отец отстранился от управления имениями, от воспитания детей. «Раз – всего только раз! – он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал»... – вспоминал Тургенев.

В первые годы брака они с Варварой Петровной еще как-то пытались ужиться вместе, понять друга. Сергей Иванович повез молодую жену с семилетним Николаем и пятилетним Ванечкой в Европу, образовывать. Они посетили Берлин, Дрезден, Карлсбад, Аугсбург, Берн, Базель, Париж, Страсбург, Карлсруэ, Нюрнберг, Прагу, Вену... Но везде Сергею Николаевичу попадались другие женщины – более молодые, более красивые.

В конце концов Варвара Петровна утомилась ревностью и... завела роман с семейным врачом Андреем Евстафьевичем Берсом. Родившейся от него дочери дала свое имя, назвав Варварой Петровной Богданович-Лутовиновой и поселив у себя в качестве воспитанницы. Андрей Евстафьевич дочь признавать отказался, позже вступил в законный брак, и его старшая дочь Софья стала женой Льва Толстого. Оба писателя подшучивали над своим своеобразным родством.

Ходили слухи, что единутробным братом Ивана Сергеевича Тургенева был и мальчик, воспитывающийся во Франции – Луи Поме. Так это или нет, но Иван Сергеевич и Поме встречались и переписывались, и стали хорошими друзьями.

* * *

В 1827 году Тургеневы переехали в Москву, сняли одну из московских городских усадеб на Самотеке (район Москвы, получивший свое название от близь расположенного Самотечного пруда, через который протекала река Неглинная, в верховьях называвшаяся – Самотекой).

Впрочем, родители долго в Москве не задержались, сдав сыновей в частный пансион, уехали за границу, на воды, лечить почечнокаменную болезнь, которая развилась у Сергея Николаевича. Сыновья обязаны были писать им письма в форме «журналов» – подробных отчетов за каждый прожитый день. Закончив пансион, Тургенев поступил на факультет словесности Московского университета, позже перевелся в Санкт-Петербург, где сдружился с Тимофеем Николаевичем Грановским – будущим великим историком. Дважды мельком видел Пушкина – один раз на квартире профессора Плетнева, второй – на утреннем концерте у Энгельгарта, за несколько дней до роковой дуэли.

Лечение на курортах не помогло Сергею Николаевичу, он скончался в 1834 году. Осенью 1837 года Иван Сергеевич уехал заканчивать учебу в Берлин, где попал в среду частично русских, частично немецких студентов «веселых, честных, трезвых» восхищенных чудесами природы и сокровищами человеческой мудрости. «В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о Боге, о правде, о будущем человечества, о поэзии», – позже будет вспоминать он в «Рудине».

Варвара Петровна переживала разлуку, заклинала сына: «Что мне твой подарок дорогой? Дорого внимание. Цветочные семена в первой семенной лавке – листочки и семечки все твои берегутся. Но! – тебе и это стало в тягость, и два письма я не получаю этого условленного

гостинца. Что такое за важность – берлинское изделие, узорчик по канве, ленточка, колечко, – которое бы 1000 раз целовала. Но!.. Ты на это ни в отца, ни в мать, ни в брата. Отец не едал сладко, чтобы лишнюю ленточку и чепчик прислать или привезти».

Потом корила: «Ты эгоист из всех эгоистов... Ты умеешь ценить внимательность, но! – не подумаешь, как она приятна матери... А ты будешь со временем муж, отец. О! Нет! – пророчу тебе, – ты не будешь любим женою. Ты не умеешь любить, т. е. ты будешь горячо любить не жену, т. е. не женщину, – а свое удовольствие».

Потом грозила: «Не затейся знакомства свести с актрисами в Берлине. Помни, что имя твоего отца не дает тебе на уплату в казну дохода. А я при первом твоём долге публикую, даю тебе мое честное слово, публикую в газетах, что имя у вас не отцово и что я за вас долгов платить не буду. Это не сделает тебе чести, конечно. Но! – по крайней мере, с меня за твои долги взыскивать не будут».

Потом принялась шантажировать уже чужими страданиями: «Три недели я не получала от тебя писем, mon cher Jean. Слава Богу, что не получала оттого, что ты не писал! Теперь буду покойна. Повторяю мой господский деспотический приказ. Ты можешь и не писать. Ты можешь пропускать просто почты, – но! – ты должен сказать Порфирию – я нынешнюю почту не пишу к мамаше. Тогда Порфирий берет бумагу и перо. И пишет мне коротко и ясно, – Иван С., де, здоров, – боле мне не нужно, я буду покойна до трех почт. Кажется, довольно снисходительно. Но! – ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно Николашку высеку: жаль мне этого, а он прехорошенький и премиленький мальчик... Что делать, бедный мальчик будет терпеть... Смотри же, не доведи меня до такой несправедливости»... Тургенев слишком хорошо ее знал, чтобы не воспринять ее угрозы всерьез.

* * *

В 1839 году она срочно вызвала Ивана в Россию – в Спасском случился пожар, сгорела большая часть дома, остался один флигель. Повидавшись с сыном, Варвара Петровна вновь отправила его за границу, дав денег на путешествие в Италию.

Искусство итальянского Ренессанса потрясло Тургенева, он писал Грановскому: «Со мною случилось то же, что с бедным человеком, получившим огромное наследство... Целый мир, мне не знакомый, мир художества – хлынул мне в душу... Скажу Вам на ухо: до моего путешествия в Италию мрамор статуи был для меня только что мрамор, и я никогда не мог понять всю тайную прелесть живописи». Не меньшее впечатление на него произвели археологические раскопки в Помпеях. Он побывал в Неаполе, в Генуе, на Сардинии.

Вернувшись в Берлин, он познакомился с Михаилом Александровичем Бакуниным – молодым философом-анархистом, будущим революционером, участником Пражского народного восстания 1848 года. Бакунин отсидит три года в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (с 1851 по 1854 год), затем его переведут в Шлиссельбургскую крепость (с 1854 по 1857 год), а позже сошлют в Сибирь. Оттуда он сбежит, уедет в Лондон, будет сотрудничать с Герценом в издании «Колокола» и критиковать Карла Маркса, но переведет на русский «Манифест коммунистической партии» и образует собственную организацию – «Международный союз за демократический социализм». Он умрет в 1876 году в Берне, в Швейцарии, в больнице для чернорабочих. Но все это – в будущем. А пока Бакунин приглашает Тургенева погостить в его имении Премухино, когда они оба вернутся в Россию. И пишет сестрам: «Примите его как друга и брата, потому что в продолжение этого времени он был для нас и тем и другим и, я уверен, никогда не перестанет им быть... Он вам много, много будет рассказывать об нас и хорошего и дурного, и печального и смешного. К тому же он – мастер рассказывать, – не так, как я, – и потому вам будет весело и тепло с ним. Я знаю, вы его полюбите».

* * *

В 1841 году Тургенев вернулся в Спасское-Лутовиново, Варвара Петровна уже отстроилась. И дом, может не такой большой и просторный, как раньше, но все же удобный и вместительный, ждал молодого барина. Тургенев поселился во флигеле и быстро сдружился с Варварой-младшей, которую в доме звали Биби. Вместе они совершали «хищнические набеги», правда, уже не на библиотеку, а на бакалейный шкаф, где хранились всякие лакомства и который содержал в порядке специально поставленный слуга – скупой до чрезвычайности.

«Со словами «пойдем грабить», – вспоминала Варенька, – отправлялись мы с ним к шкафу. Иван Сергеевич даже иногда при этом принимал свирепый вид, шел необыкновенно крупными шагами, причем я, держась за его руку, едва поспевала бегом за ним. Так и предстанем мы, бывало, перед лицом спасского Гарпагона.

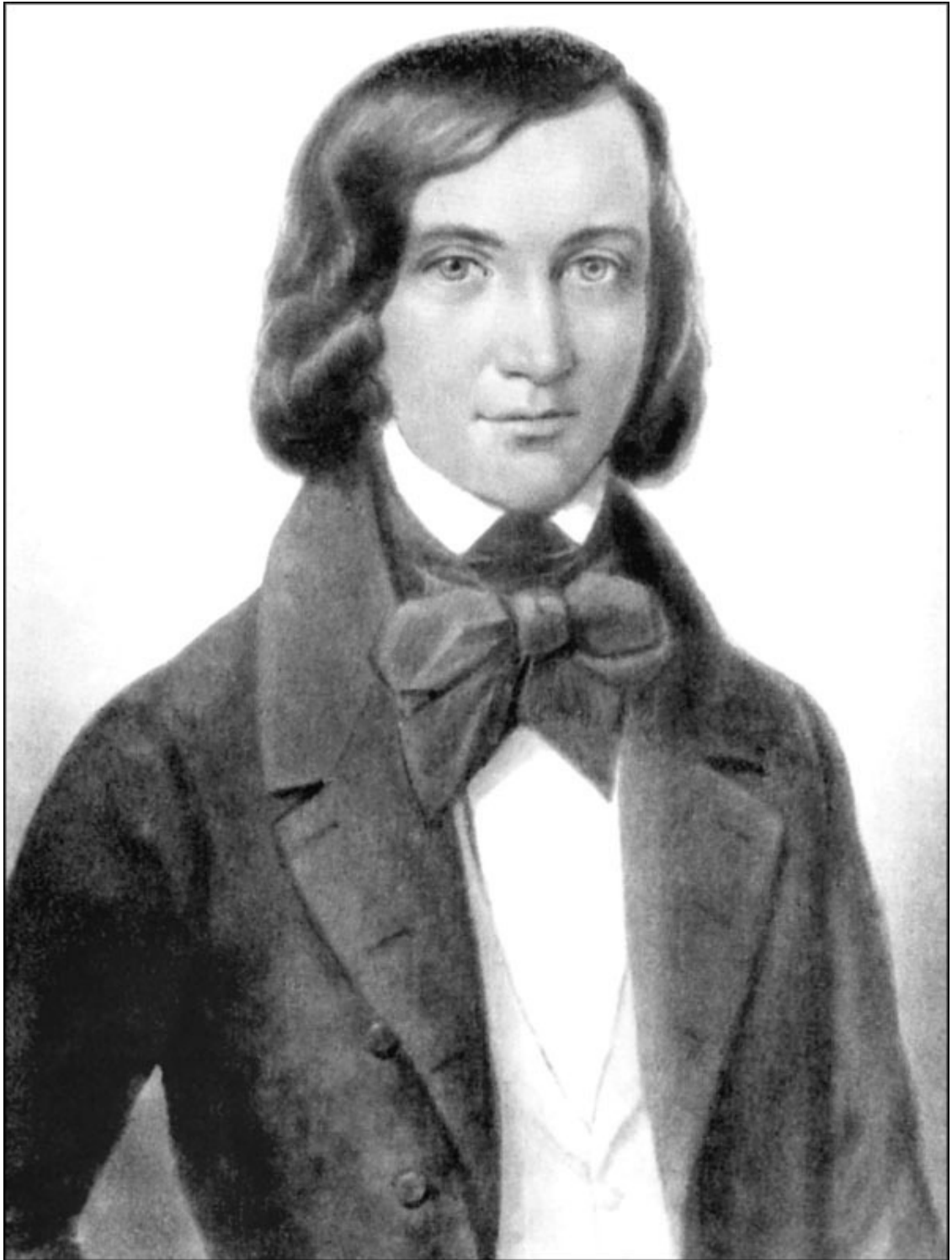
– Отопри! – скажет Иван Сергеевич.

Ему, как большому и как коренному барину, шкаф отворялся настежь, и он полновластно распоряжался в нем».

Но не только сласти из бакалейного шкафа влекли Ивана Сергеевича. Он влюбился в наемную белошвейку Авдотью Ермолаевну Иванову, та не смела ему возразить. О том узнала Варвара Петровна и принялась корить сына, тот в раздражении ответил, что готов хоть сейчас жениться. Варвара Петровна испугалась, пригрозила выпороть, как в детстве. Иван сбежал, а мать кричала ему вслед: «Стой, мошенник! Стой! Проклянута! Лишу благословения и наследства!»

* * *

Очень смущенный, не знающий, куда податься, Иван вспомнил о приглашении в Премухино. С премухинскими барышнями его сближали не только радость воспоминаний о Мишеле (так звали Бакунина дома). Было и общее горе. Незадолго перед этим в Италии неожиданно умер совсем еще молодой друг Тургенева Николай Владимирович Станкевич. Вместе они поехали за границу, вместе были в Риме, и Иван Сергеевич ночью, прогуливаясь по Аппиевой дороге, напугал приятеля, неожиданно позвав: «Божественный Гай Юлий Цезарь!» – и странно, зловеще откликнулось эхо. Утром приятели посмеялись над ночными страхами и расстались. Тургенев отправился в Рим, Станкевич – на озеро Комо, где и умер от чахотки на руках у старшей сестры Бакунина Варвары. «Он был нашим благодетелем, нашим учителем, братом нам всем, каждый из нас ему чем-нибудь обязан. Он был мне больше, чем брат. Десять братьев не заменят одного Станкевича... Как вам сказать, что я потерял вместе с ним. Это половина меня, лучшая, самая благородная моя часть, сошедшая в могилу» – так писал о нем Т. Н. Грановский.



Николай Владимирович Станкевич (1813 – 1840 гг.) – русский писатель, поэт, публицист, друг писателя

А позже в Премухино от той же чахотки и от тоски скончалась невеста Станкевича – Люба, младшая сестра Бакунина. Варвара и третья сестра Татьяна оплакивали ее, горе Тургенева было еще свежо, а кругом цвело щедрое российское лето. Исцеляло раны, взывало к жизни.

В ночь летнюю, когда, тревожной грусти полный,

От милого лица волос густые волны
Заботливой рукой
Я отводил – и ты, мой друг, с улыбкой томной
К окошку прислонясь, глядела в сад огромный,
И темный и немой...

В окно раскрытое спокойными струями
Вливался свежий мрак и замирал над нами,
И песни соловья
Гремели жалобно в тени густой, душистой,
И ветер лепетал над речкой серебристой...
Покоились поля.

Ночному холоду предав и грудь и руки,
Ты долго слушала рыдающие звуки —
И ты сказала мне,
К таинственным звездам поднявши взор унылый:
«Не быть нам никогда с тобой, о друг мой милый,
Блаженными вполне!

Я отвечать хотел, но, странно замирая,
Погасла речь моя... томительно-немая
Настала тишина...
В больших твоих глазах слеза затрепетала,
А голову твою печально лобызала
Холодная луна.

Иван и Татьяна влюбились друг в друга. Это был союз умов, союз душ, настоящая первая любовь, пришедшая к Тургеневу только сейчас, когда так много уже было испорчено, опорочено, смято. Татьяна первая видит в нем будущего великого писателя, хотя Тургенев еще толком ничего не написал, видит его талант, его потенциал. Почти все стихи Тургенева, стихи романтические и по-хорошему беспомощные, искренние посвящены этой девушке и этому лету. Он навсегда сохранил память о Татьяне, все «тургеневские девушки», все лучшие его героини имеют ее черточки. И все его герои оказываются недостойны своих подруг.

Эту любовь он называл «горьким премухинским романом», «романом без весны». И правда, летом 1841 года они еще гуляют по премыхинским полям, наслаждаясь коротким и тревожным счастьем.

Дай мне руку – и пойдем мы в поле,
Друг души задумчивой моей...
Наша жизнь сегодня в нашей воле —
Дорожишь ты жизнью своей?
Если нет, мы этот день погубим,
Этот день мы вычеркнем шутя.
Все, о чем томились мы, что любим,
Позабудем до другого дня...
Пусть над жизнью пестрой и тревожной
Этот день, не возвращаясь вновь,
Пролетит, как над толпой безбожной

Детская, смиренная любовь...
Светлый пар клубится над рекою,
И заря торжественно зажглась.
Ах, сойтись хотел бы я с тобою,
Как сошлись с тобой мы в первый раз.
«Но к чему, не снова ли былое
Повторять?» – мне отвечаешь ты.
Позабудь все тяжкое, все злое,
Позабудь, что расставались мы.
Верь: смущен и тронут я глубоко,
И к тебе стремится вся душа
Жадно так, как никогда потока
В озеро не просится волна...
Посмотри... как небо дивно блещет,
Наглядишься, а там кругом взгляни
Ничего напрасно не трепещет,
Благодать покоя и любви...
И в себе присутствие святыни
Признаю, хоть недостойн ей.
Нет стыда, ни страха, ни гордыни,
Даже грусти нет в душе моей...
О, пойдем – и будем ли безмолвны,
Говорить ли станем мы с тобой,
Зашумят ли страсти, словно волны;
Иль уснут, как тучи под луной, —
Знаю я, великие мгновенья,
Вечные с тобой мы проживем.
Этот день, быть может, день спасенья,
Может быть, друг друга мы пойдем.

А в марте 1842 г. приходит отрезвление. Татьяна – не Авдотья Еромолаевна, быть с ней вместе без брака невозможно, а Варвара Петровна, на иждивении которой до сих пор находятся братья, не одобрит такой невесты.

«Вчера я ничего не могла вам сказать – ничего, Тургенев, – но разве вы знали, что было у меня на душе – нет, я бы не пережила этих дней – если б не оставалась мне смутная надежда – еще раз, боже мой – хоть раз еще один увидеть вас... – пишет Татьяна в марте 1842 года. – О, подите, расскажите кому хотите, что я люблю вас, что я унизилась до того, что сама принесла и бросила к ногам вашим мою непрошенную – мою ненужную любовь – и пусть забросают меня камнями, поверьте – я вынесла бы все без смущения... Если б я могла окружить вас всем, что жизнь заключает в себе прекрасного – святого, великого – если б я могла умолить бога – дать вам все радости – все счастье – мне кажется – я бы позабыла тогда требовать для самой себя – но когда-нибудь – я верю – вы будете счастливы – как я хочу – тогда, Тургенев, вспомните – что я бы радовалась за вас – о, я стала бы так радоваться, как мать радуется за сына – потому что чувствую в душе моей глубокую – всю беспредельную, всю слепую нежность матери, все ее святое самоотречение. Тургенев, если б вы знали, как я вас люблю, вы бы не имели ни одного из этих сомнений, которые оскорбляют меня – вы бы верили, что я не забочусь об себе – хотя я часто предаюсь всей беспредельной грусти моей – хоть я хочу, хоть я решилась – умереть – но если б я не хотела – разве воля моя могла изменить что-нибудь – мой приговор давно

произнесен, и я только с радостью покоряюсь ему – ропот – борьба; но к чему она послужила бы – и я так устала бороться, что могу только молча ждать свершения божьей воли надо мной – пусть же будет, что будет!

Вы давать еще не можете, вы – как ребенок, в котором много скрыто зародышей и прекрасного и худого, но ни то ни другое не развилось еще, а потому можно только надеяться или бояться! Но я не хочу бояться, а только верить. Нет! Вы не погубите ни одной способности, данной вам. В вас разовьется все богатство, той божественной жизни, вы будете человеком – когда? Этого нельзя определить...

Иногда все во мне бунтует против вас. И я разорвать эту связь, которая бы должна была унижать меня в моих собственных глазах. Я готова ненавидеть власть, которой я как будто невольно покорилась. Но один глубокий внутренний взгляд на вас смиряет меня; не могу не верить в вас... С тех пор как люблю, нет теперь ни гордости, ни самолюбия, ни страху. Я предалась судьбе моей.

Если бы вы меня спросили, для чего я вам не сумела ответить, так как сама не знаю – я огорчена и беспокоюсь, ничего не зная о вас. Быть может вы больны, может быть страдаете, и мы ничего не знаем, и я не могу помочь вам. Господи, зачем вы так удаляетесь! Не я ли причина этого внезапного отчуждения? Но отчего? Чему приписать это? Если и нет более страсти во мне, то все же осталась та же привязанность, та же нежность, и если когда-нибудь вы будете нуждаться в этом, вспомните, Тургенев, что есть душа на свете, которая лишь ждет вашего зова, чтобы отдать вам все свои силы, всю любовь, всю преданность... Я могла бы без страха предложить вам самую чистую привязанность сестры, – она вас более не волновала бы, как волновали когда-то те странные отношения, которые я необдуманно вызвала между нами – она не лишила бы вас свободы и никогда не стала бы гнетом для вас».

Тургенев отвечает ей из дома на Остоженке, где теперь живет вместе с матерью².

«Мне невозможно оставить Москву, Татьяна Александровна, не сказавши Вам задушевного слова. Мы так разошлись и так чужды стали друг другу, что я (далее зачеркнуто) не знаю, поймете ли Вы причину, заставившую меня взять перо в руки... Вы можете, пожалуй, подумать, что я пишу к Вам из приличья... все, все это и еще худшее я заслужил...

Но я бы не так, хотя на время, хотел расстаться с Вами. Дайте мне Вашу руку и, если можете, позабудьте все тяжелое, все половинчатое прошедшего. Вся душа моя преисполнена глубокой грусти, и мне гадко и страшно оглянуться назад: я все хочу забыть, все, исключая Вашего взгляда, который я теперь так живо, так ясно вижу... Мне кажется, в Вашем взгляде нахожу я и прощение и примирение... Боже мой! Как грустно мне и как чудно – как бы я хотел плакать и прижать Вашу руку к моим губам и сказать Вам все – все, что теперь так тревожно толпится в душе...

Я иногда думал, что я с Вами расстался совсем: но стоило мне только вообразить, что Вас нет, что Вы умерли... какая глубокая тоска мной овладевала – и не одна тоска по Вашей смерти, но и о том, что Вы умерли, не зная меня, не услышав от меня одного искреннего, истинного слова, такого слова, которое и меня бы просветило, дало бы мне возможность понять ту странную связь, глубокую, сросшуюся со всем моим существом – связь между мною и Вами... Не улыбайтесь недоверчиво и печально... Я чувствую, что я говорю истину и мне не к чему лгать.

² Варвара Петровна жила на Остоженке в доме, где сейчас находится музей И.С. Тургенева (современный адрес: ул. Остоженка, д. 37).



Татьяна Бакунина, которой Иван Тургенев посвятил несколько стихотворений. Портрет работы Евдокии Бакуниной. 1850-е гг.

И чувствую, что я не навсегда расстанусь с Вами... Я Вас увижу опять... моя добрая, прекрасная сестра. Мы теперь жили, как старики – или, пожалуй, как дети – жизнь ускользала у нас из рук – и мы глядели за ней, как глядели бы дети, которым нечего еще жалеть, у которых еще много впереди – или, как старики, которым уже и не жалко жизни... Точно привидения во 2-м акте «Роберта-Дьявола», которые и пляшут и улыбаются, а знают, что стоит им кивнуть головой – и молодое тело слетит с их костей, как изношенное платье... В доме Вашей тетушки так тесно, так холодно, так мрачно... и Вы, бедная – век с ними...

Я стою перед Вами и крепко, крепко жму Вашу руку... Я бы хотел влить в Вас и надежду, и силу, и радость... Послушайте – клянусь Вам богом: я говорю истину – я говорю, что думаю, что знаю: я никогда ни одной женщины не любил более Вас – хотя не люблю и Вас полной и прочной любовью... я оттого с Вами не мог быть веселым и разговорчивым, как с другими, потому что я любил Вас больше других; я так – зато – всегда уверен, что Вы, Вы одна меня поймете: для Вас одних я хотел бы быть поэтом, для Вас, с которой моя душа каким-то невыразимо чудным образом связана, так что мне почти Вас не нужно видеть, что я не чувствую нужды с Вами говорить – оттого что не могу говорить, как бы хотелось – и, несмотря на это – никогда, в часы творчества и блаженства уединенного и глубокого, Вы меня не покидаете; Вам я читаю, что выльется из-под пера моего – Вам, моя прекрасная сестра... О, если б мог я хоть раз пойти с Вами весенним утром вдвоем по длинной-длинной липовой аллее – держать Вашу руку в руках моих и чувствовать, как наши души сливаются и все чужое, все больное исчезает, все коварное тает – и навек. Да, Вы владеете всею любовью моей души, и, если б я бы мог сам себя высказать – перед Вами – мы бы не находились в таком тяжелом положении... и я бы знал, как я Вас люблю.

Посмотрите, как постоянно Вы со мною во всех моих лучших мгновениях: вот Вам песнь Серафины из «Д. Жуана» (когда-нибудь Вам расскажу... да Вы сами поймете). Вы, я знаю, не подумаете, что Серафина – Вы, а тот, кому она это говорит, – я: это было бы слишком смешно и глупо; но мое отношение к Вам»...

Самые сокровенные слова он не решается сказать по-русски и переходит на немецкий язык.

«Ihre Gestalt, Ihr Wesen ist immer in mir lebendig, verandert sich und wächst und nimmt neue Gestalte an, wie ein Proteus: Sie sind meine Muse; so hat sich zum B., die Gestalt der Seraphine aus dem Gedanken an Sie entwickelt und auch die der Inez, der Donna Anna vielleicht – was sag' Ich vielleicht – alles, was Ich denke und erfinde, ist auf eine wunderbare Weise mit Ihnen verknüpft.

Leben Sie wohl, meine Schwester; geben Sie mir Ihren Segen auf die Reise – und bauen Sie auf mich – bis jetzt noch – wie auf einen stummen Felsen, dem aber im innersten steinernen Herzen wahre Liebe und Ruhung verschlossen ruht.

Leben Sie wohl; Ich bin tief gerührt und erschutert – leben Sie wohl, meine beste, einzige Freundin. – Auf Wiedersehen. Turgeneff»³.

Возможно, эти строки напомнили вам коллизию «Евгения Онегина». Татьяна, несомненно, достойна называться этим именем. Но Тургенев вовсе не Онегин, не лишний человек, внутренняя жизнь которого была составлена из скуки и желчной иронии. В одном Татьяна была права: Тургенев еще не был до конца собой, он созрел, не раскрылся ни как писатель, ни как человек, он еще боялся любить, творить, обнажая свое сердце. Этот путь ему еще предстоял.

³ Ваш образ, Ваше существо всегда живы во мне, изменяются и растут и принимают новые образы, как Протей: Вы моя Муза; так, например, образ Серафины развился из мысли о Вас, так же как и образ Инессы и, может быть, донны Анны, – что я говорю «может быть» – все, что я думаю и создаю, чудесным образом связано с Вами. Прощайте, сестра моя; дайте мне свое благословение на дорогу – и рассчитывайте на меня – покамест – как на скалу, хотя еще немую, но в которой замкнуты в самой глубине каменного сердца истинная любовь и растроганность. Прощайте, я глубоко взволнован и растроган – прощайте, моя лучшая, единственная подруга. До свидания. *Тургенев (нем.)*

Часть вторая. Певица

Девочку разбудили странные звуки. Довольно высокие, где-то во второй октаве, протяжные, и в то же время объемные, наполненные. Во сне они казались ей матовыми трубочками стекла, которые покачивались на ветру, но не звенели, а словно гудели. Девочка думала, что знает о звуках все, но таких прежде никогда не слышала.

Она открыла глаза. Уже совсем рассвело. Девочка соскользнула с постели и по толстому яркому ковру, нити которого приятно щекотали ноги, а потом по теплому, не остывшему за ночь глиняному полу подбежала к окну. Сначала не увидела никого, но потом задрала голову и разглядела сидящую на ветке раскидистого дерева, в темной зелени листвы птицу.

Это была голубка, горлица, но какая-то необыкновенная! Легкая, стройная, невесомая. Нежно лиловые перья, матовые, будто присыпанные пудрой, подведенные синевой глаза. Крылья темнее, почти черные и по их краю – белые полосы, слово рукава нижнего платья, выбившиеся из-под бархатной робы.

Полина сразу решила, что это именно голубка, и она поет, призывая возлюбленного. Большая часть арий, которые исполняла ее мать, были об этом. И девочка узнала томную тоску в голосе птицы. «Приди! О, приди! Ты далеко, и я тоскую! О, будь со мной!»

Новый звук спугнул певицу. Проходивший мимо дома пастух в пончо из некрашеной шерсти и в валяной из войлока шапке заиграл на своей гнусавой дудке. Ему ответили блеянием овцы. Горлица взглянула вниз на пастуха презрительно – как он посмел оскорбить ее слух своей какофонией, вспорхнула с ветки и рывками стремительно унеслась в синеву.

* * *

Полина Гарсиа-Виардо родилась в Париже 18 июля 1821 года. Ее отец Мануэль дель Пополо-Висента-Родригес Гарисиа – выходец из цыганского квартала Севильи, был театральным тенором, «богом-тенором», как звали его поклонники. Он также сочинял музыку и с успехом ставил на сцене собственные оперы. Мать Хоакина Сичес, урожденная Брионес, как писали газеты «служила украшением мадридской сцены» и писала либретто для опер мужа. Несколько наиболее удачных песен, сочиненных супругами Гарсиа «ушли со сцены в народ». На парижских улицах пели «Я – контрабандист» (арию из комической оперы Гарсиа «Расчетливый поэт»), «Кораблик», «Рикирики». Старшая сестра Мария Феличиата уже училась музыке. Брат Мануэль, преподававший пение, уже обзавелся собственной семьей, женившись на певице Евгении Майер.

Крестным отцом Полины был композитор Фердинанд Пэр, крестная мать – русская покровительница семьи Гарсиа – Прасковья Андреевна Голицина, в девичестве Шувалова, жена тайного советника князя Михаила Андреевича Голицына, фрейлина русского двора, писательница, поэтесса и переводчица. Она дружила с Пушкиным, перевела на французский несколько глав из «Евгения Онегина», и как вспоминает Вяземский: «Она очень забавно говорила Пушкину о его Онегине и заклинала его не выдавать замуж Татьяну за другого, а разве за Евгения, и входила в эти семейные дела со всем жаром и нежною заботливостью доброй родственницы». В ее честь Полина получила свое, такое неиспанское, имя.



Полина Мишель Фердинанд Гарсиа-Виардо. Художник Тимофей Нефф. 1842 г.

Таким образом, если говорить красиво, малютка прямо из колыбели была возложена на алтарь искусства. Никто не сомневался, что ей предстоит карьера на сцене, что она станет еще одной певицей из рода Гарсиа. Но это был тот редкий случай, когда семейный сценарий совпадал с личными склонностями и устремлениями. Полина не мыслила себя без музыки. «Я не помню времени, когда бы ее не знала», – говорила она, уже будучи взрослой. Трех лет от роду девочка уже выучилась читать ноты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.